

ПОЛИС

5'2015 Политические Исследования

Научный и культурно-просветительский журнал
Издается с 1991 г.
Выходит 6 раз в год

2015 № 5

DOI: 10.17976/jpps/2015.05.00

ISSN (Print) 1026-9487

ISSN (Online) 1684-0070

Импакт-фактор РИНЦ 2013 – 1.264

(пятилетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования)

Учредители:

Некоммерческое партнерство “Редакция журнала “Полис” (“Политические исследования”)

Институт социологии РАН

Общероссийская общественная организация “Российская ассоциация политической науки”

Некоммерческий фонд – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ)

Главный редактор:

С.В. Чугров

Научный советник:

И.К. Пантин

Редакция:

А.Л. Бардин, А.Н. Кокарева, Л.Н. Кузнецова, М.В. Лапина, В.В. Лапкин (первый зам. главного редактора), Е.В. Михайлова (ответственный секретарь)

Компьютерная верстка:

И.М. Ситдииков

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЖУРНАЛА ПИ № ФС77-35342 выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 17 февраля 2009 г.

Материалы номера соответствуют нормам Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 (в редакции 28.07.2012) “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и классифицированы по возрастной категории 12+

©Полис. Политические исследования, 2015

POLIS.Political Studies

www.politstudies.ru

www.polismag.ru



ISSN 1026-9487



9 771026 948003 >

Полис. Политические Исследования 5'2015

6 Представляю номер

7 Четвертые “Бердяевские чтения”. ИСЭПИ. Владивосток

9 Л.М. Дробижева, С.В. Рыжова

Гражданская и этническая идентичность и образ желаемого государства в России

ТЕМА НОМЕРА:
СОЦИОЛОГИЯ
ПОЛИТИКИ
В РОССИИ

25 В.В. Петухов, Р.В. Петухов

Демократия участия: институциональный кризис и новые перспективы

49 Л.И. Никовская, В.Н. Якимец

Формирование и отстаивание общественных интересов в России: от “административной” к партнерской модели

64 С.А. Кравченко, В.И. Салыгин

Риски энергобезопасности: востребованность гуманистической геополитики

75 В.И. Пантин, В.В. Лапкин

Этнополитические и этносоциальные процессы на постсоветском пространстве (на примере России, Белоруссии, Казахстана и Украины)

94 В.В. Люблинский

Политическое измерение социального неравенства и бедности (сравнительный опыт)

ORBIS TERRARUM

107 Н.А. Медушевский

Борьба за толерантность в идейной конфронтации европейских фабрик мысли

119 М.Д. Романова

Влияние культурного контекста на формирование научной политики (опыт Франции)

130 Г.И. Мусихин

Концептуализация политической символизации

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПОЛИТОЛОГИЯ

145 О.Н. Яницкий

Критические состояния среды обитания: методологические и теоретические проблемы

160 А.А. Галкин, Ю.А. Красин

Перестройка – с дистанции в три десятилетия

ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ
И БЛИЗКАЯ

175 В.М. Платонов

Формирование механизма выборов. Как это было в Москве

ИНТЕРВЬЮ

182 Т.В. Зверева

О России в мире и мире в России (памяти Натальи Бажановой)

РАЗМЫШЛЯЯ
НАД

186 М.С. Турченко

Почему честные выборы не пустой звук

ПРОЧИТАННЫМ

192 Информация для авторов журнала

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИМВОЛИЗАЦИИ

Г.И. Мусихин

МУСИХИН Глеб Иванович, доктор политических наук, профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ. Для связи с автором: gmusikhin@hse.ru

Статья поступила в редакцию: 31.05.2015. Принята к печати: 22.06.2015

Аннотация. В статье предпринимается попытка по-новому осмыслить политическую символизацию как вид политического бытия. Автор исходит из того, что символическое воздействие в политическом контексте предполагает обладание соответствующей информацией, но не опирается на заранее оговоренную реакцию на данную информацию. Поэтому в политическом контексте не следует смешивать семантику языка со смыслом разговоров (речи как таковой). Специфическое содержание политической символизации выводится из анализа теории символа, созданной немецким романтизмом, благодаря которому понятие символа получило эстетическую привилегию. Автор утверждает, что современные исследователи в рамках социальных наук пользуются высоким «репутационным статусом» символа как особой эстетической реальности, обоснованной романтизмом, но при этом отказываются от содержания, обусловившего этот статус. Политическая символизация концептуализируется в статье как множественность смыслов политической коммуникации, конвенциональность которых заранее не обеспечена. Поэтому политическая символизация рассматривается как редкое и не поддающееся прогнозированию явление, которое происходило лишь «как бы», но в коллективном восприятии наделяется большей явленностью, нежели реальные события.

Ключевые слова: политический символ; символизация; немецкий романтизм; символ; знак; соотношение символа и знака; неконвенциональность символизации; толкование символа.

О символическом содержании человеческой жизни вообще и политики в частности говорится довольно часто. И это неудивительно. Символы — это заметно. Символы — это парадоксально. Символы — это интересно. Символы — это таинственно. Символы — это талантливо. Список можно продолжить. Символы занимают в человеческом бытии *эстетически* привилегированную роль. Это сообщает символизации стереотип визуализации: в обыденном сознании (и восприятии) символы ассоциируются прежде всего с некими визуальными знаками, восприятие которых вызывает смысловые ассоциации. Поэтому символы в политике на уровне *обыденного представления* — это «картинки»: серп и молот, свастика, тройное рукопожатие Рузвельта, Сталина и Черчилля, теракты 11 сентября.

Конечно, понятийное содержание символа шире и глубже. Однако нас в данном случае интересует то, *почему символы, а не знаки как таковые приобрели эстетические привилегии*. Достаточно вспомнить термин *символизм*, чтобы понять объем этих привилегий во всех сферах нашей деятельности (в том числе в политике).

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРОТИВ ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ?

В самом первом приближении можно утверждать, что обыденный политический акцент на неязыковые символы основан на том, что символическое

содержание политики основано не на субстанциональности как таковой, а на событийности как таковой. Политические символы разворачиваются *не от значения к значению, а от суждения к суждению*. Получается, что языковые символы действуют поверх логических знаков. Если политические символы и обладают субстанциональностью (это очень обширная тема, которую я обозначу здесь только в скобках), то она в любом случае не предопределяет их структуру. То есть если мы и обладаем *способностью суждения* о политических символах, это еще не значит, что у нас есть *умение говорить* о них. Отсюда столь частый в политическом контексте эффект той самой «собаки», которая все «понимает», но сказать не может. «Понимает» не случайно взято в кавычки, так как это очевидная попытка выдать желаемое за действительное. Без умения высказаться о политике потенциал ее понимания так и остается потенциалом, не переходя в актуальное мыслительное действие.

Здесь на помощь неумению говорить о политике приходит зрительное восприятие последней, создавая иллюзию преобладания визуального в символической сфере политики. Однако это не более чем видимость, так как речевая основа политической символизации (как и любой другой символизации) очевидна. Возьму на себя смелость утверждать: *символы существуют не потому, что мы их видим и даже не потому, что мы о них думаем, но потому, что мы о них говорим*.

О чем-то подобном, только в более широком эпистемологическом контексте, говорил Мишель Фуко, доказывая реальность и производительную силу дискурса [Фуко 2012: 35-60]. Но, на мой взгляд, стоит взглянуть на ситуацию и шире, и глубже: *политические символические конструкции не обязательно являются дискурсами*, даже если выражены словами. Поэтому (в том числе, но не только) в данной статье я буду пользоваться понятием *политической символизации*, а не широко известным концептом *символической политики* [Edelman 1985]. Логика такой замены будет развернута по ходу данной статьи, а онтологические и эпистемологические основания данной логики будут изложены в другом материале [Мусихин 2015]. Здесь же ограничусь замечанием, что литература по символической политике уделяет особое внимание линейно (а не диалектически) коммуникативным и семантическим (т.е. ориентированным больше на значения, а не суждения) аспектам политической жизни как коллективного действия [Turner 1974; Symbol and Politics... 1975; Mount 1972; Jameson 1981]. Почему в контексте политической символизации этого недостаточно, станет понятно далее.

В случае политической символизации ситуация осложняется тем, что политические разговоры могут содержать в себе алогичность уже в процессе образования смысла. Можно сказать, что в современной политике присутствуют элементы античного смыслообразования, где логос противопоставлялся мифу [Лосев 1991: 27-40], и соответственно восприятие речи находилось между двух полюсов, один из которых был логическим пониманием, а второй мифическим толкованием [Тодоров 1998: 21].

Конечно, не стоит утверждать, что политические символы — это обязательно мифы, элемент прямого логического объяснения в них конечно же присутствует, но смысл политические мифы приобретают только через косвенное толкование, и в этом безусловная близость мифического и символического [Flood 2002]. В этом смысле политические символы образуются не из связи знака и предмета как *обозначения*, а из связи говорящего (показывающего, пишущего) и слу-

шающего (смотрящего, читающего). В первом случае мы объясняем значение (принимаемого бюджета, победы на выборах той или иной партии, последствий заключенного соглашения и т.д.), во втором — осуществляем коммуникацию, чреватую возможностью коллективного самоосознания.

При этом первоочередное значение имеет контекст коммуникации (косвенное толкование), а не значимость логических доводов как таковых, которые в данном случае лишь *как бы* играют главную роль. Предвыборная программа Хиллари Клинтон была более логична и аргументирована, нежели программа Барака Обамы, но избиратели от демократической партии *истолковали* лозунг “*Change We Need*” как более убедительный. В данном случае политическая символизация обеспечила возможность толкования, а не просто способствовала передаче информации.

Поверхностное восприятие функционирования политических символов может спровоцировать публицистическое утверждение об алогичности политики и дефиците в ней рациональной аргументации. Однако теоретическая сдержанность не позволяет впасть в подобную тенденциозность. Логическая аргументация и рационализм — повседневная рутина производства политических значений, которые в свою очередь ведут к проявлению политических смыслов. Но восприятие этих смыслов неизбежно содержит в себе элемент символического толкования. И важно фиксировать, на чем ставится тот или иной контекстуальный акцент.

Если имеет место символическое толкование (восприятие / воздействие), исследователю следует совершить немислимое с точки зрения логического позитивизма, но необходимое для понимания контекста: знаки и означаемые им предметы следует противопоставлять только на функциональном, но не на субстанциональном уровнях. Именно такого функционального противопоставления при игнорировании субстанциональных различий придерживался Гейббельс в своей знаменитой пропагандистской форме: “чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят”. В этом случае алогичность данного утверждения остается только на уровне эстетического восприятия, технологически же сформулированный Гейббельсом пропагандистский механизм вполне объясним в логических терминах.

Символическое толкование оперирует интенциональными знаками, вещная сущность которых доведена до минимума или вообще отсутствует. При этом нужно помнить, что интенциональное в политическом контексте не равно конвенциональному, хотя и подобно последнему, но только как противоположное естественному (природному). *Символическое воздействие предполагает общее знание некоторой информации, но не опирается на заранее оговоренную реакцию на подобное воздействие.* Желательная реакция может предполагаться и ожидаться, но это не является гарантией ее проявления. Такая особенность символического воздействия (точнее — взаимодействия) свидетельствует о том, что так наз. политические технологии не более чем “художественное творчество”, которое в принципе не способно спрогнозировать реакцию публики. Возвращаясь к формуле Гейббельса: знание особенностей социальной психологии и способов воздействия на толпу еще не гарантирует успеха конкретного воздействия. Утверждать обратное — значит *выдавать желаемое технологами за политически действительное.*

Можно, конечно, возразить, заявив, что неопределенность вызвана не особенностью символизации в политике, а недостатком научного знания

о человеческой психике. Однако последнее будет справедливо только в рамках позитивистской парадигмы, полагающей связь между политическими мыслями и политическими предметами универсальной, а связь между политическими смыслами и словами — условной. Это опять возвращает нас к ситуации собаки, которая *якобы* все понимает, но сказать не может, хотя в контексте политической символизации умение рассуждать является определяющим.

Кроме того, важно помнить, что в политическом контексте то или иное обозначение является мотивированным, что способствует конвенциональности подавляющего большинства политических значений (и знаков). Иными словами, все коллективные и индивидуальные интересы в политике имеют значение. Но возникает вопрос: какие из этих значений запускают процесс политической символизации, а какие остаются на уровне знаков и их взаимодействия?

Здесь таится опасность отождествить политику с “разговорами”. В рамках такой “политической семиотики” произойдет если не отрицание, то как минимум игнорирование различия между словами и другими знаками. Хотя эта опасность имеет место в семиотике как таковой (если принять за таковую работу классиков [Соссюр 2004]), а не только относительно ее политического отвлечения, и это ставит вопрос о возможности существования семиотики вообще. Однако в рамках данного исследования это “не наша война”. Для нас же возможность выхода из потенциального тупика состоит в использовании парных категорий риторики (языковое-неязыковое, интенциональное-естественное, конвенциональное-экспрессивное, означение-символизация и т.д.). То есть “семиотика может существовать, если в ее основание закладывать противопоставление семантического и символического” [Тодоров 1998: 51].

Можно предположить, что *знаки* в политике имеют только *прямой* смысл, в то время как *символическая* реальность политики предполагает наличие смысла *косвенного*, причем последний как правило *преобладает* в процессе символизации¹. Знаменитая фраза Мартина Лютера Кинга “*I have a dream*” стала символической не потому, что у конкретного общественного деятеля была мечта (хотя этот деятель был известным, а мечта достойной), а вследствие того, что данная фраза вызвала массу косвенных аллюзий и переживаний, “срезонировав” с общеизвестным конструктом “американской мечты”. В представленном примере политическая риторика (технологически примененная на высоком профессиональном уровне) вызвала эффект спонтанной политической символизации. Мартина Лютера Кинга, скорее всего, не интересовала семантическая структура выражения “американская мечта”, так как для политического контекста риторика представляет не совокупность знаков, а целенаправленное действие, цель которого — убедить участников коммуникации.

Поэтому *на первый план выходит не правильность и даже не привлекательность политического речевого послания, а его уместность.* И как бы ни был Митт Ромни более профессионален и логически убедителен в своей аргументации в теледебатах с Барак Обамой (это фиксировали многие опросы телезрителей), пафос справедливости последнего был уместнее пафоса эффективности республиканского кандидата, который проиграл президентские выборы “неожиданно” крупно.

¹ Противопоставление прямого смысла знака косвенному смыслу символа можно найти уже у Августина [Августин 1835: 67-238].

Следует отметить, что риторика зачастую приобретает самостоятельное значение в политическом контексте. В результате первоначальная функция риторики как убеждения может подменяться красотой (оригинальностью) речи как таковой. В этой ситуации создание новых идей подменяется риторически изощренным способом изложения. Тем самым из политического средства (инструмента) риторика превращается в политическую форму (как правило, с ничтожным содержанием). Символический потенциал такого воздействия крайне ограничен, но в случае высокого уровня относительной депривации² политического сообщества подобный потенциал может иметь устойчивое влияние на политическую жизнь. Достаточно вспомнить стабильную (хотя и ограниченную) электоральную поддержку Жириновского.

Такая трансформация политической риторики стара как сама риторика, так как ее (трансформацию) можно зафиксировать уже в трудах Цицерона [Цицерон 1972: 343]. Примечательно, что Цицерон, будучи златоустом, добивался политического влияния не убедительной апелляцией к широкому общественному мнению, а изощренными аргументами, адресованными элите римского общества. В этом нет ничего удивительного. При свертывании свободы слова усиливается роль регламентации последнего, и риторика оказывается здесь как никогда кстати.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СИМВОЛИЗАЦИИ: СМЫСЛ РАЗГОВОРА, А НЕ СЕМАНТИКА ЯЗЫКА

Злоупотребление формальной стороной политической риторики свидетельствует о том, что *в политическом контексте не следует смешивать семантику языка со смыслом разговоров* (речи как таковой). Эти две сферы тесно переплетены, но не тождественны. В реальных политических разговорах мы оперируем политическими смыслами, тогда как семантика сосредоточена на значениях лексикона; то, что этот лексикон политический, для семантики не имеет принципиального значения.

Можно сказать, что в рамках политической символизации единственной эмпирической реальностью являются смыслы, значения же локализируются семантикой на отделенном от непосредственного качества политической жизни лингвистическом уровне. Подобная семантическая “игра в бисер” способствует приращению лингвистических знаний, но, на мой взгляд, ее потенциал понимания политики непропорционально мал в сравнении со сложностью методологии и трудоемкостью анализа.

Зафиксировав, что для анализа символического содержания политики принципиально важное значение имеет *смысл*, следует разделить последний на *прямой и косвенный*. При этом следует заметить, что прямой смысл, как правило, не запускает процесс политической символизации, так как в большинстве случаев не требует толкования. То есть политическая символизация в подавляющем большинстве случаев имеет дело с косвенным смыслом политических разговоров по поводу политических событий.

Два наиболее известных способа образования косвенного смысла — это *метафора и аллегория*. В данном исследовании нет *смысла* разбирать хорошо изученный механизм их образования (хотя с точки зрения семантики это

имело бы большое значение). Ограничимся тем, что зафиксируем элиминацию прямого смысла в метафоре и его сохранение в аллегории.

В случае с метафорами и аллегориями мы сразу же сталкиваемся с тем, что они не всегда фиксируют наличие политических символов. Метафора “ветвь власти” просто указывает на разделение властей, но не порождает множественные коллективные ассоциации, ведущие к коллективному самоопределению. Так же как аллегория “правых” и “левых” не способствует такому самоопределению сама по себе. Этот казус крайне важен, так как свидетельствует о том, что для *политической символизации еще недостаточно наличия косвенного смысла политики* как такового. Точно так же *факт разговора о политике еще не означает включения подобного разговора в политический дискурс*.

НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ КАК ИСТОК СИМВОЛИЗАЦИИ

В данном исследовании уже не в первый раз анализ фиксирует *особое качество символов* вообще и политических символов в частности. В этой связи необходимо поставить вопрос о том, что же такое символ как таковой и символ в политическом контексте. Казалось бы, следовало начать работу с этого вопроса, но я не сделал этого сознательно, чтобы *не следовать устоявшемуся канону, не замечаящему проблемное соотношение знака и символа*.

Существует устойчивое (хотя есть и исключения [Гиренок 2010]) мнение, что символ — это разновидность знака [Кассирер 2002: 21–28; Ласан 1997: 65–68]. Даже если семантически это так, нас в первую очередь интересует явление, которое лежит на поверхности, но которому не уделяется должного внимания. Почему символ обладает таким качеством, которое можно фигурально назвать *“смысловой и эстетической респектабельностью”*, особенно в сравнении со знаком, который так и остается инструментальным понятием анализа? И если символ всего лишь разновидность знака, как ему удалось выбраться в интеллектуальные и эстетические “аристократы”, хотя его “знаковая семья” осталась в “подмастерьях”?

Здесь особенно важно посмотреть, когда понятие и слово “символ” стало приобретать такое привилегированное значение и почему это произошло.

Понятие символа как разновидности знака можно зафиксировать еще у Аристотеля и проследить далее через все Средневековье и Новое время. Это сама по себе захватывающая история. Однако я не буду на ней останавливаться, благо это уже сделано до меня Цветаном Тодоровым [Тодоров 1998]. Он же обнаружил *исток эстетического и интеллектуального взлета символа, и имя этому истоку — немецкий романтизм*.

Именно в эстетике романтизма следует искать истоки того направления художественного творчества, которое получило название *символизм*. При этом немецкий романтизм никогда не ограничивался “чистым искусством”, так как политическая направленность творчества многих немецких романтиков была очевидна [Schmitt 1925; Мусихин 2002: 37–52]. “Парадокс” в том, что именно романтики стали родоначальниками концепции “искусства для искусства”. Я не случайно взял слово парадокс в кавычки: здесь следует говорить не о парадоксальности, а о *диалектичности*. Как известно, Гегель во многом опирался на диалектические идеи, сформулированные именно романтиками (в частности Шеллингом).

Можно сказать, что немецкий романтизм наделил понимание символа новым смыслом, которым были “очарованы” многие представители искусства

²Классическая работа об относительной депривации [Гарр 2005].

и интеллектуального творчества в следующие двести лет. Хотя можно предположить, что многие из них не осознавали, откуда “ноги растут”. В основе этого нового понимания лежала конфронтация с *рационализмом* Просвещения. Максимум, на что был способен последний, по мнению Адама Мюллера, это изобретение, но “не в изобретении, а в открытии состоит сущность познания... Не в массе внешних явлений ищет оно проявление полноты жизни, но в собственном, одушевленном, плодотворном ощущении жизни” [Mueller 1920: 120]. По мнению романтика, рационализм выхолащивает жизненные явления, делая их всего лишь *знаками* своей системы, но жизненные реалии “не желают только обозначать и объяснять, они хотят чувствовать и захватывать” [ibid.: 126].

Романтизм отвергает аналитическое рационалистическое исследование действительности, заменяя его не-рациональным (для кого-то иррациональным, для кого-то диалектическим) слиянием (синтезом) с реальностью. Именно такой *синтетический* подход стал одним из главных орудий романтики в споре с аналитическим “разрезанием” органически целостной реальности. В результате последнего, по мнению Новалиса, последователи Декарта превратили “бесконечную прекрасную музыку мироздания в монотонный скрип чудовищной мельницы, которая приводится в движение потоком случайностей и по этому же потоку плывет ‘мельница в себе’, без создателя и мельника, своеобразный запретный *perpetuum mobile*, мельница, перемалывающая саму себя” [цит. по Greiffenhagen 1977: 85].

Романтики упрекали картезианский рационализм в статичности, предложив в качестве альтернативы “*динамическую концепцию разума*”, согласно которой “мысль не должна писать портрет мира — она должна сопровождать его движение” [Манхейм 1994: 627], т.е. “вместо того, чтобы рассматривать мир как вечно меняющийся в отличие от статичного Разума”, романтизм “представляет сам разум и его нормы как меняющиеся и находящиеся в движении” [там же: 616].

Не удивительно, в связи с вышеизложенным, что преобладающий акцент в романтическом взгляде на мир — это акцент эстетический, даже если речь идет о сферах жизни, далеких от мира прекрасного. И если для Маркса его философией была политэкономия, то для романтизма *философией была эстетика*. И именно поэтому символ получил в данной эстетике особое привилегированное место. В духе своего мировосприятия романтизм *перенес акцент символизации с взаимоотношений реальности и символа на взаимодействие автора и создаваемого им символа*. Сходство между символом и символизируемой реальностью не исчезло, однако формальное подобие перестало быть определяющим для данного сходства, последнее стало определяться наличием тождественной внутренней структуры реальности и динамического разума автора.

Как это ни парадоксально (точнее, как ни диалектично), романтический символ как прекрасное бесполезен, так как утилитарное имеет свою цель вне себя самого, а романтический истолкованное прекрасное не нуждается в оправдании внешнего порядка. Оказывается, что *символ* прекрасен в той мере, в какой он не транзитивен, т.е. (в диалектической логике) *целостен*. Символу можно уподобиться, но его нельзя разложить на составные элементы и перевести в другую форму.

В таком понимании *символ не есть разновидность знака*, символ есть *завершение диалектической триады означаемое-означающее-символ*. То есть символ

содержит в себе и то, что обозначалось, и сам знак, но все это содержится в символически снятом виде и не составляет сущность символа как такового. Более того, для романтизма первостепенное значение имеет не новое качество символа как состояния и значения, а то, что *символ не есть состояние как статус, но всегда становление как процесс*. Можно сказать, что романтики первыми поставили проблему *символизации* как процесса становления в противоположность *обозначению* как ставшему. Это в очередной раз отсылает нас к динамической модели разума романтизма, которую Фридрих Шлегель проиллюстрировал примером философствования: “Как только человек думает, что стал философом, он перестает им становиться” [цит. по Тодоров 1998: 201].

Именно эстетически понятый концепт *становления* охватывает все романтическое понимание действительности вообще и политической действительности в частности. Особенно это относилось к символической эстетизации романтиками государства. Как отмечал Карл Шмитт, романтики рассматривали “государство как произведение искусства” [Schmitt 1925: 172], которое должно создаваться государственными деятелями, осуществляющими государственное управление как творческий процесс, так как “одухотворенное государство поэтично само по себе” [Novalis 1931: 182].

В этой связи становится более понятным намерение Адама Мюллера “сплавить Бёрка и Гёте в чем-то более высоком третьем” [цит. по Schmitt 1925: 60]. Это “высокое третье” *символизирует* государство как нерасчленимое единство, не сводимое к сумме составных частей. Именно такому государству “нужно платить налоги с тем же чувством, с каким даришь цветы любимой” [ibid.: 173-174].

Истолкованное таким образом государство противопоставлялось конвенционально понимаемому политическому сообществу Просвещения. Романтическое государство было результатом уникального, а потому *неконвенционального* коллективного творчества, в ходе которого происходит *символизация* политической власти, что ведет к уникальному коллективному самоосознанию, создающему *Staatspersönlichkeit*, государство-личность, которое “не возникло по воле индивидов, так как оно само великий индивид” [Joachimsen 1922: 146].

Это был принципиально иной способ толкования политики, в котором “государство историко-политической действительности являлось только случайным произведением искусства по отношению к производительной творческой деятельности романтического субъекта” [Schmitt 1925: 172]. Сейчас бы это назвали *коммуникативным подходом к политике*, но в контексте столкновения принципов Великой французской революции и *ancien régime* это получило идеологизированную оценку как эстетское и мистическое бегство от реальности. И справедливости ради следует признать, что такая оценка не была безосновательна, так как именно немецкий романтизм стал одним из родоначальников немецкого консерватизма, причем в его реставрационной ипостаси. Реставрационные пристрастия не позволили романтикам “операционализировать” свои интеллектуальные прозрения в рамках современной им политической философии. Как бы изящно они ни выдавали политическую архаику за романтическую эстетику, она оставалась архаикой в актуальном политическом пространстве.

Собственно эстетической теории романтизма “повезло” больше, так как она оказала большое влияние на развитие всей европейской культуры.

Именно романтизму принадлежит инновационная идея о креативной роли языка, который не только лучше или хуже передает мысли и смыслы, но и способен производить их.

Романтическая интерпретация языка связана с уже отмеченной динамической концепцией разума, в рамках которой язык как речь есть непрерывное становление, которое невозможно объяснить надлежащим образом, опираясь только на конкретные высказывания. Язык как становление содержит в себе механизм производства нового смысла как приращения *нового качества*, которого не было в непосредственно произносимых словах; оно появляется только как результат интерактивного *толкования*, и результат этого толкования не *предопределен*. Показательно, что этот эвристический подход к языку заимствовал у романтиков Вильгельм фон Гумбольдт, один из родоначальников теории языка в Германии и убежденный *либерал*, оппонент политического романтизма. Фраза Гумбольдта: “в языке, как в непрестанном горении человеческой мысли, не может быть ни минуты покоя, ни мгновения полной остановки. По своей природе он представляет собой устремленное вперед развитие, движимое духовной силой каждого говорящего” [Гумбольдт 1984: 158], вполне органично звучала бы и из уст Фридриха фон Шлегеля или Новалиса.

Такое динамическое понимание языка согласовывалось с динамическим пониманием романтической *символизации*, которая отличается от *обозначения* тем, что акцент делается на процессе *экспрессии* в противовес процессу подражания и *репрезентации*. Подобным образом понятая символизация как экспрессия продуцирует *импрессию* как особое воздействие на участника *коммуникации*. Поэтому слова в процессе символизации — это не знаки предметного мира, а образы того, кто говорит и встречает отклик у слушающих, т.е. *выразительность доминирует над репрезентативностью*. Именно в этом смысле следует понимать слова Новалиса: “Образ — это не аллегория, не символ чего-то иного, он — символ самого себя” [Novalis 1931: 174].

Предложенный романтизмом символический синтез (или синергия) получил особенное распространение в сфере искусства и теории эстетики. Во многом благодаря романтикам искусство стало трактоваться как сфера, в контексте которой выражается то, что нельзя сказать с помощью языка как системы знаков, даже если это словесное искусство. Поэтому символизация сопровождается разговором не о том, что невозможно выразить, а об ассоциациях (число которых не предопределено, а потому не согласуемо), вызываемых изначальной художественной идеей как источником символизации³.

Тем самым в романтической интерпретации символизации возникает понятие *несказуемого*, которое проявляется во множественности “вторичных” толкований вследствие изначальной недостаточности конкретного смысла, адекватного логике. Можно сказать, что в процессе символизации *означаемое выходит за рамки означающего*, но не как само означаемое, а только в *толкованиях участников коммуникации*. В контексте несказуемого следует понимать слова Фридриха Шлегеля о том, что символы являются представлениями “элементов, которые сами по себе непредставимы” [цит. по Тодоров 1998: 227], поэтому, например (и здесь уже подключается старший из братьев

³ Примечательно, что о чем-то подобном писал Кант, только в ином философском контексте [Кант 1966: 333].

Шлегелей — Август Вильгельм), только “прекрасное есть символическое выражение бесконечного” [Schlegel 1964: 81-82].

Здесь будет крайне полезна отсылка к кантовской “Критике способности суждения”, которая иллюстрирует очевидный *софизм современных социальных наук*, пользующихся понятием *символ* как рядоположенной разновидностью знака: “Хотя это и принято новейшими логиками, но слово *символический* употребляют неправильно и искажают его смысл, если противопоставляют его *интуитивному* способу представления; ведь символическое есть только *вид интуитивного*” [Кант 1995: 277]. Софизм состоит не в том, что современные науки об обществе отказываются от романтической трактовки символа. В этом, конечно же, нет ничего предосудительного, — несмотря на парадигмальный академический диктат [Кун 1975], концептуальную свободу никто не отменял. Софизм в том, что *современные исследователи пользуются высоким “репутационным статусом” символа как особой эстетической реальности, обоснованной романтизмом, но при этом отказываются от содержания, обусловившего этот статус* [Бурдые 1993: 66-67; Малинова 2010: 90-105; Edelman 1967].

Нечто подобное в свое время произошло со знаменитым принципом “священной частной собственности”. Священность и неприкосновенность собственности была обоснована Джоном Локком, который рассматривал собственность не просто как владение, а как часть личности, преобразованную трудом (для удовлетворения жизненных потребностей личности) часть природы. В этой концептуальной логике такая собственность действительно священна и неприкосновенна, так как священна и неприкосновенна сама личность. Все, что сверх этого, в логике Локка может быть признано законным, но священным и неприкосновенным не является [Локк 1988: 276-291]. Однако со временем “манчестерский либерализм” и его последователи изъяли из локковской концепции собственности гуманистический и деятельностный компонент, оставив только владение как таковое, которое при этом продолжало оставаться священным [Бастия 2012].

СИМВОЛИЗАЦИЯ КАК МНОЖЕСТВО НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ КОММУНИКАЦИИ

Возьму на себя смелость утверждать: именно несказуемость или интуитивность символа, что в современных терминах можно концептуализировать как *множественность смыслов коммуникации, конвенциональность которых заранее не обеспечена*, следует считать *сутью процесса символизации* вообще и политической символизации в частности. В свое время наиболее полно и последовательно особое качество символа проанализировал Гёте, который не был последовательным романтиком, однако в понимании символического был солидарен с романтизмом. Гёте провел *систематическое сравнение символа с аллегорией*; именно с последней символ сейчас отождествляют довольно часто [Тодоров 1998: 234-239].

Первое отличие символа и аллегории касается разной связи между означающим и означаемым. В аллегории означающее существует для того, чтобы мы сразу же увидели в нем означаемое. В символе означающее сохраняет свою ценность и “непрозрачность”. То есть если аллегория транзитивна, то символ нетранзитивен и синтетичен одновременно. Иными словами, аллегория ориентирована только на понимание, а символ — на восприятие и понима-

ние одновременно. Второе отличие состоит в том, аллегория проявляет свое значение непосредственно, а символ косвенно. Существование аллегии не самостоятельно, смысл ее существования не в ней самой, а в том, что она означает. Символ же существует для самого себя в диалектическом смысле (не “в себе” и не “для другого”, хотя эти состояния и содержатся в синтезе в снятом виде). Третье различие проистекает из отношения обозначения. Если в аллегии это отношения *предмет-объект*, то в символе это отношения *предмет-идеал*. Когда мы хотим зафиксировать значение (а не толкование) символа, мы всегда делаем это в логике частного примера, поэтому в интерактивном толковании мы можем видеть “сквозь” частный пример (но не вместо него) общий смысл символа. Четвертое различие относится к способу восприятия. Когда (и если) мы воспринимаем символ, проявляется его косвенный смысл (смыслы), и именно это производит символический эффект, который не предзадан и не предсказуем. Восприятие аллегии происходит конвенциональным образом через ее заученный смысл как значение. Поэтому символизация всегда лаконична в отличие от большинства эксплицитных дискурсов, которые могут быть сколь угодно пространными.

Таким образом, *аллегория как знак и символ как символ*, по мнению Гёте, различаются не логикой перехода означающего в означаемое (последняя присутствует и в символизации в снятом виде), а *способом возникновения общего смысла в частном*: “В аллегии явление превращается в понятие, понятие в образ, но так, что понятие по-прежнему содержится в образе, и его можно целиком сохранить и выразить в образе. В символах явление превращается в идею, идея в образ, но так, что идея остается бесконечно активной и недоступной в образе, и даже будучи высказанной на всех языках, она остается неизречаемой” [цит. по Тодоров 1998: 239]. Можно сказать, что Гёте в данном высказывании проводит мысль о том, что смысл аллегии фиксирован и конвенционален, т.е. конечен, а смысл символа неконвенционален, поэтому бесконечен, следовательно, он, если и подлежит фиксации, то контекстуальной.

В рамках романтической традиции было предпринято еще одно принципиально различие. Это различие *символизации и схематизации*. Строго говоря, данное различие не есть заслуга романтизма. О нем писал и Кант в своей “Критике способности суждения”. Однако у последнего это различие не носит принципиального характера, так как схематизация и символизация сопласуются по форме рефлексии, различаясь по ее содержанию [Кант 1995: 277].

В собственно романтической традиции соотношение аллегии, схематизации и символа дал Шеллинг, использовав классическую диалектическую логику соотнесения: “Тот способ изображения, в котором общее обозначает особенное или в котором особенное созерцает себя через общее, есть схематизм. Тот же способ изображения, в котором особенное обозначает общее или в котором общее созерцается через особенное, есть аллегория. Синтез того и другого, где ни общее не обозначает особенного, ни особенное не обозначает общего, но где и то и другое абсолютно едины, есть символ” [Шеллинг 1966: 106].

Тем самым Шеллинг обозначил уникальное место символа, характерное для романтической мыслительной традиции. Данная уникальность в романтической интерпретации состоит в том, что он *одновременно и существует, и имеет значение*, при этом *акцент* в разном контексте может делаться на *разные модусы* (в каких-то случаях принципиальнее толкование символа как существующего,

в каких-то ситуациях важнее обсуждение его значений). Эта непредзаданная множественность воплощений и толкований символа была для романтизма основанием того, что понятие символа совпадало с понятием прекрасного.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ “ШЛЕЙФ” ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИМВОЛИЗАЦИИ КАК УГРОЗА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Можно утверждать, что эстетическая безупречность и смысловая плюральность романтически понятого символа сделала его столь популярным элементом творчества и рефлексии. Символ при этом вышел в своей популярности далеко за пределы искусства, в том числе в сферу толкования политического. Однако “шлейф эстетического” сохраняется за процессом символизации в любой сфере применения символа (и в рефлексии политики также). Это ведет к тому, что символическое содержание политики зачастую отождествляется с визуализацией политического, так как визуальное восприятие символического является наиболее простым и доступным для толкования. Тем самым существует *двойная угроза ошибочного восприятия*.

Во-первых, если оставаться в рамках романтического толкования символа, *не всякий комплекс визуальных знаков в политике есть символ*, т.е. не все визуальные политические знаки запускают неконвенциональный процесс символизации, ведущей к коллективному самоосознанию. Во-вторых, политическую символизацию нужно искать в первую очередь *не в визуализации смыслов, а в самих смыслах*, которые в подавляющем большинстве случаев представлены не зрительными образами, а речевым толкованием. Иначе говоря, политические символы — это не картинки, это слова. И даже если “картинка” становится политическим символом, то только потому, что словесно истолкована, хотя слова при этом могут не произноситься и не фиксироваться.

Однако нужно помнить, что толкование, запускающее процесс политической символизации, происходит только в том случае, если одновременно осуществляется производство смысла и выражается несказуемое. При этом принципиальное значение имеют *не объекты толкования* как таковые, а *позиции тех, кто толкует*.

Поэтому можно утверждать, что действительная политическая символизация — достаточно редкое и всегда непрогнозируемое явление. Политический символ обладает “моментальностью”, которой лишены все другие политические знаки. Процесс реальной символизации ведет к мгновенной целостности, которая не сводима к последовательности моментов. Вследствие этого *корректнее говорить именно о политической символизации, нежели о политических символах*, так как символ есть скорее специфическая *деятельность, а не продукт последней*.

Специфичность политической символизации как деятельности состоит и в том, что она (символизация) способна создать эффект чувственного (квази-осязаемого) присутствия, так как множественное толкование политических идей через символизацию “сжимается в точку” явления, которое происходило лишь “как бы”, но в коллективном восприятии наделяется большей явленностью, нежели реальные события.

Эту последнюю особенность способности суждения Кант в свое время обозначил как суждение о возвышенном [Кант 1995: 182-185]. Данная кантовская логика суждения, относясь не к символизации как таковой, тем не менее взятая как когнитивная матрица, удачно накладывается на объяснение возникающего в ходе символизации эффекта чувственного присутствия.

Множественность толкования и потому нетранзитивность политической символизации ведет к тому, что последняя, образно говоря, “не помещается в головы”. Эта эпистемологическая ограниченность коллективного опыта порождает коллективное воображение как элемент самоосознания. Фантазия замещает чувственный опыт как таковой, как если бы она была последним. Мы не можем чувственно ощутить свободу, справедливость или единение государства со своими гражданами. Однако “*I have a dream*” или “Братья и сестры!” в 1941 году создают (создавали) эффект мгновенного присутствия в коллективной жизни: либо свободы и справедливости (в первом случае), либо единения государства с гражданами (во втором). Однако это тема отдельного исследования.

Августин А. 1835. *Христианская наука или Основания Св. герменевтики и церковного красноречия*. Киев: Типография Киево-Печерской Лавры. 355 с.

Бастия Ф. 2012. *Кобден и Лига. Движение за свободу торговли в Англии*. Челябинск: Социум. 732 с.

Бурдые П. 1993. *Социология политики*. М.: Socio-Logos. 336 с.

Гарр Т.Р. 2005. *Почему люди бунтуют?* СПб.: Питер. 461 с.

Гиренок Ф.И. 2010. *Аутография языка и сознания*. М.: МГИУ. 176 с.

Гумбольдт В. фон. 1984. *Избранные труды по языкознанию*. М.: Прогресс. 400 с.

Кант И. 1995. *Критика способности суждения*. СПб.: Наука. 512 с.

Кассирер Э. 2002. *Философия символических форм. Язык. Т. 1*. М., СПб.: Университетская книга. 272 с.

Кун Т. 1975. *Структура научных революций*. М.: Прогресс. 288 с.

Локк Д. 1988. *Сочинения в 3-х томах. Т. 3*. М.: Мысль. 668 с.

Лосев А.Ф. 1991. *Философия. Мифология. Культура*. М.: Мысль. 527 с.

Малинова О.Ю. 2010. Символическая политика и конструирование макро-политической идентичности в постсоветской России. — *Полис. Политические исследования*. № 2. С. 90-105.

Манхейм К. 1994. *Диагноз нашего времени*. М.: Юристъ. 704 с.

Мусихин Г.И. 2002. *Россия в немецком зеркале (сравнительный анализ германского и российского консерватизма)*. СПб.: Алетейя. 256 с.

Мусихин Г.И. 2015. Символизация как контекстуальный синтез политической онтологии, политической эпистемологии и политического языка. — *Общественные науки и современность*. № 6. (В печати).

Сосюр Ф. де. 2004. *Курс общей лингвистики*. М.: Едиториал УРСС. 278 с.

Тодоров Ц. 1998. *Теории символа*. М.: Дом интеллектуальной книги. 408 с.

Фуко М. 2012. *Археология знания*. СПб.: ИЦ “Гуманитарная Академия”. 416 с.

Цицерон М.Т. 1972. *Три трактата об ораторском искусстве*. М.: Наука. 472 с.

Шеллинг Ф.В.Й. 1966. *Философия искусства*. М.: Мысль. 496 с.

Edelman M. 1967. Myths, Metaphors and Political Conformity. — *Psychiatry*. No. 3. P. 217-228.

Edelman M. 1985. *The Symbolic Uses of Politics*. Chicago: University of Illinois Press. 221 p.

Flood C.G. 2002. *Political Myth. A Theoretical Introduction*. N.Y., L.: Routledge. 309 p.

Greiffenhagen M. 1977. *Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland*. München: Piper Verlag. 425 S.

Jameson F. 1981. *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. Ithaca: Cornell University Press. 305 p.

Joachimsen P. 1922. Zur Historischen Psychologie des Deutschen Staatsgedanken. — *Die Dioskuren. Jahrbuch für Geisteswissenschaften. Bd. I*. München: Meyer & Jessen. S. 106-177.

Lacan J. 1997. *Ecrits: A Selection*. L.: W.W. Norton & Co. 384 p.

Mount F. 1972. *The Theatre of Politics*. N.Y.: Schocken Books. 276 p.

Mueller A. 1920. *Vorlesungen ueber die deutsche Wissenschaft und Literatur*. München: Drei Masken Verlag. 231 S.

Novalis. 1931. Fragmente. — Baxa J. *Einfuehrung in die romantische Staatswissenschaft*. Jena: Gustav Fischer. S. 152-187.

Schlegel A.W. 1964. *Die Kunstlehre*. München: Kohlhammer. 338 S.

Schmitt K. 1925. *Politische Romantik*. München und Leipzig: Duncker & Humblot. 234 S. *Symbol and Politics in Communal Ideology* (ed. by S.F. Moore, B.G. Myerhoff). 1975. Ithaca: Cornell University Press. 240 p.

Turner V. 1974. *Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*. Ithaca: Cornell University Press. 352 p.

DOI: 10.17976/jpps/2015.05.11

CONCEPTUALIZATION OF POLITICAL SYMBOLIZATION

G.I. Musikhin¹

¹National Research University Higher School of Economics. Moscow, Russia

MUSIKHIN Gleb Ivanovich, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Professor, Department of Political Science, National Research University Higher School of Economics. Email: gmusikhin@hse.ru

Received: 31.05.2015. Accepted: 22.06.2015

Abstract. The article introduces new perspective on political symbolization as a state of political reality. Availability of symbolic influence in political context implies common knowledge; nevertheless, it does not reflect predetermined reaction to following information. Therefore, we have to discern between semantics (meaning of the language) and sense of the conversations (meaning of the speech itself). The article draws substance of political symbolization from the theory of the symbol, introduced by German romantics, who highly valued symbols as a matter of human aesthetics. Author exposes the contradiction between the use of the symbol's “privileged status” in the dimension of aesthetics and neglect of its very essence within social sciences. Political symbolization is conceptualized in terms of multiplicity of unstated meanings in communication within political context. These findings of the article have the significant implication: political symbolization is a rare and unpredictable phenomenon; it becomes “visible” as if it has been happening in the reality, but still in collective perception due to dispositions of interpreters political symbolization is presented more essential than the viscera of life.

Keywords: political symbol; German romanticism; symbol; sign; co-relation between symbol and sign; non-conventionalism of symbolization; interpretation of symbols.

References

Bastiat F. *Cobden and League. The Movement for the Free Trade in Britain*. (Russ. ed.: Bastia F. Kobden i liga. dvizhenie za svobodu trgovli v anglii. Chelyabinsk: Socium. 2012. 736 p.)

Bourdieu P. *Sociology of the Politics*. (Russ. ed.: Burd'e P. Sotsiologiya politiki. Moscow: Socio-Logos. 1993. 336 p.)

Cicero M.T. *Three treatises on oratoria*. (Russ. ed.: Tsitseron M.T. Tri traktata ob oratorskom iskusstve. Moscow: Nauka. 1972. 472 p.)

Edelman M. Myths, Metaphors and Political Conformity. — *Psychiatry*. 1967. No. 3. P. 217-228.

Edelman M. *The Symbolic Uses of Politics*. Chicago: University of Illinois Press. 1985. 221 p.

Flood C.G. *Political Myth. A Theoretical Introduction*. N.Y., L.: Routledge. 2002. 309 p.

Foucault M. *Archaeology of Knowledge*. (Russ. ed.: Fuko M. Arkheologiya znaniya. St. Petersburg: IC Gumanitarnaja Akademija. 2012. 416 p.)

Gurr T.P. *Why Men Rebel*. (Russ. ed.: Garr T.P. Pochemu lyudi buntuyut? St. Petersburg: Piter. 2005. 461 p.)

- Girenok F.I. *Autografiya yazyka i soznaniya* [Autography Language and Consciousness]. Moscow: MGIU. 2010. 176 p. (In Russ.)
- Greiffenhagen M. *Das Dilemma des Konservatismus in Deutschland*. Piper Verlag: München. 1977. 425 S.
- Humboldt W. von. Selected Works on Linguistics. (Russ. ed.: *Gumbol'dt V. fon. Izbrannyye trudy po yazykoznaniiyu*. Moscow: Progress. 1984. 400 p.)
- Jameson F. *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. Ithaca: Cornell University Press. 1981. 305 p.
- Joachimsen P. Zur Historischen Psychologie des Deutschen Staatsgedanken. — *Die Dioskuren. Jahrbuch für Geisteswissenschaften. Bd. I*. München: Meyer & Jessen. 1922. S. 106-177.
- Lacan J. *Ecrits: A Selection*. London: W.W. Norton & Co. 1997. 384 p.
- Kant I. *Critique of Judgement*. (Russ. ed.: *Kant I. Kritika sposobnosti suzhdeniya*. St. Petersburg: Nauka. 1995. 512 p.)
- Cassirer E. *The Philosophy of Symbolic Forms. Language*. Vol. 1. (Russ. ed.: *Kassirer E. Filosofiya simbolicheskikh form. Yazyk. Vol. 1*. Moscow, St. Petersburg: Universitetskaya kniga. 2002. 272 p.)
- Kuhn T. *The Structure of Scientific Revolutions* (Russ. ed.: *Kun T. Struktura nauchnykh revolyutsii*. Moscow: Progress. 1975. 288 s.)
- Locke J. Works. (Russ. ed.: *Lokk J. Sochineniya v 3-h tomah. Vol. 3*. Moscow: Mysl'. 1988. 688 p.)
- Losev A.F. *Filosofiya. Mifologiya. Kul'tura* [Philosophy. Mythology. Culture]. Moscow: Mysl'. 1991. 527 p. (In Russ.)
- Malinova O.Ju. Symbolic Politics and the Constructing of Macro-political Identity in Post-soviet Russia. — *Polis. Political Studies*. 2010. No. 2. P. 90-105. (In Russ.)
- Mannheim K. *Diagnosis of Our Time: Wartime Essays of a Sociologist*. (Russ. ed.: *Mannheim K. Diagnostika nashego vremeni*. Moscow: Jurist. 1994. 704 p.)
- Mount F. *The Theatre of Politics*. N.Y.: Schocken Books. 1972. 276 p.
- Müller A. *Vorlesungen ueber die deutsche Wissenschaft und Literatur*. München: Drei Masken Verlag. 1920. 231 S.
- Musikhin G.I. *Rossiya v nemetskom zerkale (sravnitel'nyi analiz germanskogo i rossiiskogo konservativizma)* [Russia in the German Mirror (Comparative Analysis of the German and Russian Conservatism)]. St. Petersburg: Aletheia. 2002. 256 p. (In Russ.)
- Musikhin G.I. Symbolisation as Contextual Synthesis of Political Ontology, Political Epistemology and Political Language. — *Obshchestvennyye nauki i sovremennost'* [Social Sciences and Modernity]. 2015. No. 6. (In Print). (In Russ.)
- Novalis. Fragmente — Baxa J. *Einfuehrung in die romantische Staatswissenschaft*. Jena: Gustav Fischer. 1931. S. 152-187.
- Schlegel A.W. *Die Kunstlehre*. München: Kohlhammer. 1964. 338 S.
- Schmitt K. *Politische Romantik*. Duncker & Humblot: München und Leipzig. 1925. 234 S.
- Schelling F.W.J. *Philosophy of Art*. (Russ. ed.: *Shelling F.V.I. Filosofiya iskusstva*. Moscow: Mysl'. 1966. 496 p.)
- Saussure F. de. *Course of General Linguistics*. (Russ. ed.: *Sosyur F. de. Kurs obshchei lingvistiki*. Moscow: Editorial URSS. 2004. 278 p.)
- St. Augustine. *Christian Science or the Grounds of the Holy Hermeneutics and Church Oratory*. (Russ. ed.: *Avgustin A. Khristianskaya nauka ili Osnovaniya sv. germeneytiki i tserkovnogo krasnorechiya*. Kiev: Kiev Pechersk Lavra Printing House. 1835. 355 p.)
- Symbol and Politics in Communal Ideology* (ed. by S.F. Moore, B.G. Myerhoff). Ithaca: Cornell University Press. 1975. 240 p.
- Todorov T. Theories of the Symbol. (Russ. ed.: *Todorov T. Teorii simvola*. Moscow: Dom intellektual'noj knigi. 1998. 408 p.)
- Turner V. *Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*. Ithaca: Cornell University Press. 1974. 352 p.